

У лампы под золотистым абажуром

Елена Говор, жительница Канберры, вдова недавно ушедшего из жизни этнографа Владимира Кабо, брата писательницы Любви Рафаиловны Кабо, близко знала эту замечательную женщину и блистательного литератора. В своём эссе она делится воспоминаниями о Л. Р. Кабо.

Любовь Рафаиловна Кабо была человеком цельным и в то же время удивительно многогранным, и мне, волею случая оказавшейся членом её семьи, пришлось ощутить неординарность этой удивительной женщины в полной мере. Это, несомненно, малая толика того, что знают другие. Мне, например, не довелось общаться с нею ни как с редактором, о чём пишет Анна Масс, ни как с учителем-репетитором, слава о котором шла по всей Москве.

Наше заочное знакомство с Любой уже стало неотъемлемым предметом семейного фольклора. Моё скоропалительное согласие принять руку и сердце её брата, Владимира Рафаиловича Кабо, сделанное через полчаса после знакомства, озадачило, как кажется, его самого, и на следующий день он решил посоветоваться со старшей сестрой. Брак, что и говорить, намечался необычный: я — аспирантка из Минска 25 лет, а он — маститый учёный-австраловец 57 лет. Рассказав сестре о своих планах, Владимир услышал вполне резонные вопросы:

— Давно ли вы знакомы? И что ты знаешь о своей будущей жене?

Первый вопрос Владимир проигнорировал, а на второй ответил вполне искренне:

— Она очень любит Австралию.

— Я знаю много о любви и о том, как заключаются браки, — безапелляционно сказала Люба, — но никогда не слышала о том, чтобы люди строили свой союз на любви к Австралии.

Мало же понимала она своего брата, для которого строчка в моём письме — «До чего

же удивительно было получить Ваше письмо! Такое чувство, как будто я получила письмо от самого Миклухо-Маклая» — сказала больше, чем любая биография. Я, действительно, боготворила его как учёного, читая его работы с юности, с начала моего увлечения Австралией. Помню, как, роюсь в библиотечном каталоге в поисках работ Владимира Рафаиловича, я обнаружила имена и других Кабо — Любовь Рафаиловна, Рафаил Михайлович, Елена Осиповна. «Как удивительно, вся семья — писатели!» — подумалось мне тогда, и сердце защемило от тоски по людям из другого мира, о котором я могла только мечтать в своей минской юности. И теперь, несколько лет спустя, при первой встрече с Владимиром, та мечта сбывалась. В первый же вечер он достал заветную папку с воспоминаниями своих родителей, и мы отправились в мир их юности, в 1904 год, а потом и в тревожные 1930-е. Как я хотела иметь такую семью!

Любовь Рафаиловна, к которой мы отправились знакомиться, отнюдь не вписалась в мой романтический образ.

— Ну вот, наконец-то, мой братец и нашёл бабёнку, я ему давно советовала, а он всё никак! — прокомментировала она моё появление.

Этот нарочито простецкий, компанейский стиль общения, который шёл то ли с её школы, где успешно воспитывали человека нового общества, то ли со времён комсомольской юности, меня несколько обескуражил — уж кем-кем, а «бабёнкой» я себя никак не считала! Так же бесцеремонно она отчитала Владимира, узнав, что мы не собираемся устраивать

свадьбу (решение, надо сказать, было обоюдным, мы с Владимиром быстро сошлись в нашем презрении к мещанским обычаям): «Да как это можно без обручальных колец и свадьбы, девчонка молодая, ты что себе думаешь!» Так, благодаря Любе, мы всё-таки съездили в магазин для новобрачных и купили мне обручальное кольцо; Владимир же использовал своё любимое кольцо с магическим очиром, которое он купил на рынке в Монголии прямо с пальца прежнего хозяина. Через несколько лет, когда Люба неожиданно для всех сама вышла замуж за Камила, своего бывшего ученика из крымских татар, мы любили шутить, что пример нашего «неравного брака» оказался заразительным.

Во время того же первого визита я испытала и то, о чём вспоминает Анна Масс — присутствие при разговоре «своих», говорящих намеками о том, что от меня скрыто. Речь шла, как я потом узнала, об их американских кузинах — Марии Шнеерсон и Александре Орловой, сын которой начал издавать газету «Новый американец», и новости об этом дошли до Москвы.

Я легко приняла Любин экстравертный стиль общения — может быть, именно его мне и не хватало в сдержанном интроверте Владимире — и походы в её крошечную квартирку-хрущёвку на Вавилова стали для меня настоящим праздником.



В наш следующий визит — 28 января — я увидела совсем другую Любовь Рафаиловну — священнодействующую. На маленькой тумбочке у стола стоял мой любимый, «профессорский» портрет Рафаила Михайловича, а перед ним — гвоздики. Это был особый день, празднование которого шло ещё со времен той комнаты на Каланчёвке, где довелось побывать Анне Масс. В этот день,

по традиции, никого не приглашали, но друзья приходили сами, чтобы помянуть Рафаила Михайловича, который умер в 1957 году. К этому дню приберегались все семейные заказы-пайки, и стол ломился от закусок; непременным атрибутом был печёночный паштет с луком, который по старым рецептам готовила сама Люба, и вазочки с икрой — большой редкостью в 1980-е годы, когда в магазинах было хоть шаром покати. А вершиной кулинарного искусства были домашние пироги, с которыми появлялась семья сына Любы, жившая в том же доме — сдержанная красавица Таня и душа компании Серёжа. Эта щедрость в бедности шла тоже из той, Каланчёвской, жизни.

И вот все рассказываются за столом, над которым низко опущена лампа под золотистым абажуром, круг его света магически объединяет нас всех, отгораживая от суеты современности. А может быть, незримое присутствие Рафаила Михайловича одухотворяет это застолье — ведь я уже знаю, что строгое кресло с подлокотниками, на котором во главе стола царственно сидит Люба, — его. Но главное — память, волны которой обступают это необычное застолье. Я сижу как зачарованная, слушая удивительные истории учеников и друзей Рафаила Михайловича. О том, например, как мужественно и находчиво он, революционер со стажем царских тюрем и ссылок, вёл себя, когда ему позвонил кто-то из его аспирантов во время ареста Владимира ночью 7 октября далекого 1949 года. А тут уже кто-то вспоминает, как слушал выступление Ленина на одном из съездов. «А вы знаете, что моей прабабушкой, бабушкой Рафаила, была Сонька-шинкарка из Лисок?» — это уже голос Любы. И, конечно, то и дело всплывает имя Елены Осиповны, жены Рафаила Михайловича, доброго гения их дома.

Второй святой датой был для Любы день 9 мая. День, когда её семья и друзья поминали её мужа, Семёна Попадюка, который погиб незадолго до конца войны и так и не увидел своего сына Серёжу. На телевизоре стоит портрет юного Семёна, увеличенный с маленькой групповой фотографии. Люба сидит у телевизора, близко придвинув к нему свое кресло — элегантная, строгая — и ждёт заветной минуты молчания, которая начинается ровно в 6 часов вечера. И вот диктор торжественным голосом говорит о победе и о павших — привычные советские слова, которым, на мой взгляд, не хватает простой человеческой

теплоты, — и наступает минута молчания, а я смотрю только на Любу — какая гамма чувств отражается на её суровом лице! О Семёне она не рассказывает — вся эта невероятная история любви вскоре выльется в её повесть «И не забывай, что я тебя люблю».

А ещё я любила во время не столь торжественных вечеров у Любы забраться в уголок за столом, поближе к книжной полке, всё под той же золотистой лампой и перебирать книги. С какой любовью подобранная библиотека там была, и сколько было книг с дарственными надписями от братьев-писателей! А на самой нижней полке громоздились альбомы с фотографиями — своего рода фотолетопись всей Любиной жизни, она ведь была первоклассным фотографом и совершила множество поездок по стране как журналист; добралась даже до Колымы.

Но самым главным были, конечно, книги самой Любы. Я прочитала их все, начиная с романа «Друзья из Левкауц», который чуть не получил Сталинскую премию. Люба меня, помнится, отговаривала от чтения этой книги, над которой жестоко поработала сталинская редакция, но мне она была интересна как портрет времени её юности. И тем сильнее было впечатление от чтения «Ровесников Октября», когда мы наконец-то получили заветную машинописную копию, переплетённую в синюю картонную обложку. Прочитала я этот роман запоем. Безжалостная анатомия истоков сталинизма, данная Любой, потрясла меня; я поняла, как мало я ещё знаю о том, что такое сталинизм. Вот об этом у нас и был потом долгий разговор, когда мы пришли возвращать книгу. А каким чудом потом было узнавать героев Любиной книги среди участников её застолий... Эта книга, набранная на компьютере Любиными внуками, была опубликована уже в постперестроечные годы; в ней, по сравнению с той самиздатской копией, что мы читали, многие моменты были усилены, и Люба, в письме нам в Австралию, подтвердила, что она продолжала работать над рукописью до самого последнего момента.

Последней её книгой — «Минувшее — у порога», — которую Люба писала уже на девятом десятке лет, стало путешествие в историю их семьи. Владимир в чём-то с Любой не соглашался, и они часто устраивали межконтинентальные дискуссии по электронной почте. Книга Владимира «Дорога в Австралию» — тоже воспоминания о его семье и времени, но уже глазами не ровесника

Октября, а представителя нового поколения, которое шло вслед за ними. Моим же вкладом в историю семьи стала перепечатка и публикация воспоминаний их родителей «Впереди — огни», к которым Владимир написал проникновенное предисловие; тех самых воспоминаний, что он читал мне вслух в день нашей первой встречи.

Ну, а ещё одним вкладом в историю семьи Кабо было рождение нашего сына Ральфи, единственного продолжателя славной фамилии. Из Австралии мы написали Любе, что хотим назвать сына Рафаил, в честь Рафаила Михайловича. Я думала, что это известие её порадует, но получила отповедь: «А о ребёнке вы подумали? Каково ему будет жить в России с таким именем?» Поскольку в то время мы были в Австралии на студенческих визах, и шансы остаться там были невелики, я пошла на компромисс и дала сыну первым нейтральное имя Александр, а заветное Рафаил — уже вторым. В Россию мы не вернулись, и сын утвердился под именем Ральфи. Люба, впрочем, тут же окрестила его Ральфиком, с нежностью с ним переписывалась; именно она оценила его картинку-трактат «О том, как у динозавра идёт еда в желудок» — нечто в стиле слона в удаве Экзюпери. Во время двух наших поездок в Россию она подолгу беседовала с Ральфи о жизни и о литературе.

Наша последняя встреча с Любой была в 2007 году, накануне её 90-летия; она уже перенесла удар и жила с сиделкой. Мы сидели все под тем же золотистым абажуром; молодёжь — внуки, жены, Ральфи — шумела и шутила, а Люба неожиданно для нас всплила, требуя покоя. Мы поспешно ретировались, даже не попрощавшись, и только Владимир, который редко проявлял нежные братские чувства, неожиданно подошёл к ней и, обняв, только и сказал: «Бедная моя Любочка!» Так, обнявшись, они и плакали. Только они и понимали, как тяжела старость. Это была их последняя встреча. Люба умерла в том же году. Через неделю после её смерти в соседней квартире был пожар, и когда его тушили, залили и её квартиру. Теперь её, наверно, не узнать, да скоро, вероятно, эту старую хрущёвку и совсем снесут. Но в памяти моей всё ещё светится та золотая лампа над столом, светится тем светом, что зажгли её родители столетие назад, и который Люба пронесла через наш бурный XX век. Она щедро делилась им и с учениками, с которыми она занималась за этим самым столом, и с друзьями, и с родными. ■